

Сергей Андреевский

# К столетию Грибоедова



# Сергей Аркадьевич Андреевский

## К столетию Грибоедова

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2810425](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2810425)*

### **Аннотация**

«Литературный фонд отпраздновал столетие Грибоедова, а Грибоедов и после столетия все также юн и бессмертен. Множество раз „Горе от ума“ истолковывалось на разные лады. Каждое отдельное время – чуть ли не каждое десятилетие – приступало к комедии с своим комментарием, и все понемногу вносили свое плодотворное участие в разработке славного наследства, завещанного Грибоедовым...»

# Содержание

I	4
II	14
III	17

**Сергей Аркадьевич  
Андреевский**  
**К столетию Грибоедова**  
*Из книги «Литературные очерки»*

**I**

Литературный фонд отпраздновал столетие Грибоедова, а Грибоедов и после столетия все также юн и бессмертен.

Множество раз «Горе от ума» истолковывалось на разные лады. Каждое отдельное время – чуть ли не каждое десятилетие – приступало к комедии с своим комментарием, и все понемногу вносили свое плодотворное участие в разработке славного наследства, завещанного Грибоедовым.

Каждый период нашей культуры подходил к этому произведению с своим особенным «горем от ума», т. е. с своим собственным возвышением над эпохою, и в каждом из этих периодов оценивались, по преимуществу, те или другие стороны комедии; но точно так же понемногу все части этой вдохновенной сатиры, без исключения, получили общее признание.

Белинский обрушился на Чацкого за славянофильство,

т. е. как бы за отречение от Европы. Уже из-за одного этого Чацкий показался Белинскому совершенно ничтожным. Белинский вышутил и героя пьесы, и его любовь к Софье, причем наговорил множество идеалистических парадоксов о том, какие именно женщины могут внушать к себе любовь и как именно должно осуществляться это чувство между избранными душами. Весь громадный культурный рост фигуры Чацкого, всю бессмертную прелесть его остроумия – Белинский положительно проглядел, благодаря своему страстному европеизму.

Совсем уже иначе высказался о Чацком в семидесятых годах Гончаров. Благодаря отдалению перспективы, он наметил верный диагноз этого загадочного лица в нашей поэзии. Пользуясь мыслью Герцена, он сблизил Чацкого с Онегиным и Печориным и показал превосходство Чацкого над ними. Он истолковал в Чацком истинного передового человека – тип, который у нас не умрет во всех тех случаях, когда «художник коснется борьбы понятий, смены поколений». И действительно, как русский прогрессист – Чацкий и нам еще не по плечу! «Это, – сказал Гончаров, – свобода от всех цепей рабства, которыми оковано общество и ряд дальнейших очередных шагов к свободе – от несвободы». Художественно-критический очерк Гончарова о комедии Грибоедова принадлежит к его самым счастливым произведениям.

Оно и понятно: чуткий мастер и вдумчивый публицист, Гончаров лучше всех мог оценить, какое небывалое чу-

до в поэзии представляет эта комедия, сливающая в себе нераздельно глубочайшую проповедь общественной морали и пленительную по своей яркости картину жизни. И, проникнутый горячею любовью к произведению Грибоедова, Гончаров вдохновенно постиг замысел автора, сделал все необходимые поправки к установившемуся ранее его толкованию действующих лиц, угадал все милые черты Софьи Павловны и рельефно выставил, на каких двух пружинах основано внутреннее движение пьесы: в первой части – на любви Чацкого к Софье, а в последней – на возгорающейся сплетне о сумасшествии Чацкого. Казалось бы, что это последнее разъяснение не открывало ничего нового. Но ранее Гончарова никто не хотел видеть, как сильны и жгучи в пьесе оба эти мотива.

Наконец, в восьмидесятых годах, г. Суворин сделал самостоятельный ценный этюд комедии Грибоедова. После этого труда статью Белинского можно признать несуществующею, до того ясно и живо разобраны все заблуждения нашего пламенного критика. Сверх того, г. Суворин, кстати, посчитался с Петром Великим и восхитился любовью Чацкого ко всему русскому, и подчеркнул центральное значение монолога Чацкого о французике из Бордо для верного понимания всей фигуры Чацкого. Это совершенно справедливо, потому что Чацкий несомненно любил свою родину тою же «странною» любовью, как и Лермонтов. Чацкий желал своему народу широчайшего развития, но, однако же, без утраты

той необходимой и драгоценной индивидуальности, которая вложена в славян самую природою.

И вот теперь, кажется, вполне определилось значение Чацкого, как нашего излюбленного русского прогрессиста.

Следовало бы, однако, отметить еще одну черту в Чацком, как для исполнения его роли на сцене, так и для полного постижения грибоедовской пьесы.

Чацкий – аристократ: вот чего не хотят знать актеры! Они изображают в Чацком какого-то непосидчивого фразера, какого-то сорвавшегося с цепи журналиста, который всегда выпаливает свои монологи с таким азартом, что сокровенная ирония автора, состоящая в том, что только стадо невежественных рабов могло ославить сумасшедшим столь выдающегося по уму и благородству человека, – эта ирония Грибоедова до сих пор никогда не преподается публике со сцены. Напротив того, при установившемся исполнении этой роли, крикливость Чацкого весьма естественно подготавливает общий приговор о нем «здравомыслящих людей».

В Чацком, не без основания, почти сразу все угадали самого Грибоедова. И действительно, в этой роли воплотился гений поэта. А потому следовало бы изображать на сцене Чацкого с благоговением к памяти нашего несравненного сатирика, с возможным старанием приблизиться к этой великой тени и воплотить ее живьем, чтобы от комедии осталось то «горестное» впечатление, которого автор требует в самом заглавии пьесы, т. е., чтобы зрители ясно почувство-

вали дикое оклеветание и жалкое непонимание всеми москвичами того выдающегося человека, единственное несчастье которого состояло в том, что он по своему уму, по благородству своего сердца – стоял неизмеримо выше окружавшего его общества. Кстати сказать: этот основной сатирический прием Грибоедова, но только в обратном смысле, был повторен через десять с лишком лет Гоголем в его «Ревизоре». Обе комедии дополняют одна другую и обе доказывают один и тот же тезис двумя противоположными способами: у Грибоедова – наше столичное общество приняло писаного умницу и передового деятеля за сумасшедшего, а у Гоголя – наша захолустная среда встретила шута горохового, как своего законного судью и начальника... Оно и понятно: если могло случиться первое, то уже вполне естественным должно быть и второе.

Кто же был Грибоедов? Он выделялся своим европейским образованием. По словам Пушкина, Грибоедов имел «способности государственные, оставшиеся без употребления», и был в то же время человеком «холодной, блестящей храбрости». Пушкин не постеснялся открыто высказать, что современники чуть ли не прозевали в Грибоедове настоящего Наполеона. Да, это был, по всей вероятности, государственный гений, «оставшийся без употребления», и затем волшебным образом переродившийся в бессмертного поэта. Служил Грибоедов по дипломатии, т. е. в среде и поныне аристократической, отличающейся сдержанностью и изяществом манер. Из



воспоминаний того же Пушкина мы знаем, что перед отъездом в Персию Грибоедов был печален и имел странные предчувствия... «Я было хотел его успокоить, – говорит Пушкин, – но он мне сказал: „Vous ne connaissez pas ces gens-la: vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux“»<sup>1</sup>. Не правда ли, как странно читать, что автор патриотического монолога о французике из Бордо разговаривает с русским поэтом по-французски и притом в самых изысканных выражениях? Отсюда следует, что Грибоедов, хотя и осмеивал «смесь французского с нижегородским» и горячо негодовал на обезьяничанье русских, на их слепое поклонение передо всем иностранным, но сам не только не чуждался европейских языков, но при всем своем гениальном обладании русскою речью, как бы находил более подходящим к своему высшему взгляду на жизнь и к своему превосходству над обществом говорить на языке международном. Аристократизм и невольная гордость Грибоедова сказываются и в его сжатых, колких приговорах: его язык напоминает язык Наполеона, который, как известно, благодаря меткости своих выражений, породил столько же пословиц, как и Грибоедов. Нельзя, кроме того, забывать, что Грибоедов был современником всевластного над Европою Байрона (монолог Репетилова «о камерах, присяжных, о Байроне – ну, о матерьях важных») и что едва ли он был свободен в своем обращении от некоторого холодного и высокомерного дендизма, который сказыва-

---

<sup>1</sup> «Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей» (фр.)

вается в спокойном и вызывающем осмеивании собеседника. В параллель с этим и аристократизм Чацкого сказывается во всем: в его неподражаемо ироническом допросе Молчалина, с чисто светским и даже слегка фатоватым каламбуром: «Я езжу к женщинам, да только не за этим», – в его горделивых сентенциях, – в том изящном остроумии, которым он, по воле автора, заразил всю пьесу, – в его обращении со своим лакеем, когда тот, перед концом пьесы, не вовремя появился («выталкивает его вон») и т. д. Заметим еще, что аристократизм самого автора обнаружился, например, и в коротенькой фразе графини-внучки: «Il vous dira toute l'histoire»<sup>2</sup>, которая рифмуется со стихом: «Уж нет ли здесь пожара?», из чего следует, что Грибоедов заставил эту внучку произнести чисто по-французски «истуарэ» (e muet<sup>3</sup>). Чацкий, как благовоспитанный человек, должен держать себя на сцене с «холодным и блестящим», по выражению Пушкина, самообладанием. И действительно, весь тон его реплик – когда читаешь книгу, а не смотришь на актера – везде именно таков, когда он беседует с кем бы то ни было, кроме Софьи. Исключение составляет лишь монолог второго действия: «А судьи кто?», в котором Чацкий впервые высказывает перед Фамусовым свое *profession de foi*<sup>4</sup> и знакомит зрителя с идеалами тогдашнего молодого поколения, увы, молодого и до наших

---

<sup>2</sup> «Он расскажет вам всю историю» (*фр.*)

<sup>3</sup> немое «е» (*фр.*)

<sup>4</sup> исповедание веры (*фр.*)

дней!.. Но и здесь чувствуется, что в дикции Чацкого гораздо резче должна звучать безнадежная насмешка, унижающая его слушателей, нежели пылкость, рассчитанная на то, чтобы его поняли... Вся роль Чацкого, в его столкновениях с теми пигмеями, которые его окружают, проведена автором таким образом, что Чацкий всегда остается элегантно высокомерным и пленительно остроумным. Его побаиваются и от него отскакивают, но не потому, чтобы он буянил, разносил или хмурился; напротив, он держит себя в светском отношении как настоящий лорд, с величайшей корректностью и милым юмором, но его все боятся именно за ядовитый блеск его ума – за содержание, а не за тон его речей.

Рядом с этим, исполнителям Чацкого следовало бы оттенить его искреннее оживление и страсть во всех его разговорах с Софьей. Здесь только у Чацкого говорит молодое тревожное сердце. Даже самый монолог о француженке из Бордо адресован Чацким именно к Софье – к этой Галатее, которую никак не может оживить Пигмалион, и потому этот монолог выливается у Чацкого так вдохновенно и горячо. И если бы актер, играющий Чацкого, усвоил себе эту разницу в сношениях героя пьесы с Софьей и со всеми остальными, тогда бы перед зрителем ясно выступили два горя, заключающиеся в пьесе, как удачно выразился Полонский в своем стихе: «горе от любви и горе от ума», потому что оба эти горя составляют живое содержание комедии.

Многие, начиная с Белинского, недоумевали, из-за чего

Чацкий мог полюбить такую девушку, как Софья? В этот вопрос уже внесли много света Гончаров и г. Суворин. Гончаров находил, что «в чувстве Софьи Павловны к Молчалину есть много искренности, сильно напоминающей Татьяну Пушкина. (...) Обе, как в лунатизме, бродят в увлечении с детской простотой. (...) Вообще к Софье трудно отнестись не симпатично: в ней есть сильные задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена в духоте, куда не проникал ни один луч света, ни одна струя свежего воздуха. Недаром ее любил Чацкий». Возражая Белинскому, г. Суворин сказал: «Грибоедов должен был поразить такого наивного человека, как Белинский, совершенно реальным изображением любви, самой ходячей, обыденной, без фраз, а той, которая начинается глазами и быстро переходит в объятия и ночные свидания с их негою и возбуждением, когда плоть говорит с плотью. Грибоедов в этом отношении является первым русским реалистом, предупредившим Пушкина и Толстого... Грибоедов знал ум и сердце человеческое неизмеримо лучше, чем Белинский». К этим разъяснениям прибавлять нечего. Можно разве только вспомнить примеры: за что Пушкин полюбил Н. Н. Гончарову? Из-за чего Лассаль, как и Пушкин, был убит на дуэли, влюбившись в красивую Елену фон-Раковиц? Любовь Чацкого к Софье Павловне нужно принимать как факт, объясняемый их близостью в отроческие годы, душевною нежностью и красотой Софьи, и, наконец, тем, что всякий влюбленный

мужчина всегда невольно населяет любимый женский образ своими собственными идеалами.

И если бы публицистическая сторона пьесы не подавляла, благодаря тенденциозным симпатиям нашей публики, романтической ее стороны, если бы не существовало предрассудка, что такому человеку, как Чацкий, едва ли возможно полюбить Софью глубоко и серьезно, если бы эта часть драматической интриги не исполнялась спустя рукава, а сообразно с удивительным лиризмом текста во всех сценах, где Чацкий выражает свою любовь, – тогда бы произведение Грибоедова выиграло неизмеримо во всей своей жизненной правде.

## II

И до сих пор эта удивительная пьеса гораздо живее в чтении, нежели на сцене. Когда читаешь «Горе от ума», тогда осязательно чувствуешь жаркую и мучительную любовь Чацкого к Софье, чувствуешь, что в этом именно кроется не механическая пружина, а живой нерв комедии. Для одной только Софьи Чацкий приехал в Москву. Все остальное, т. е. громадное превосходство Чацкого над старым поколением и тот невольный смотр, который при этом произвел Чацкий всем пошlostям московского общества – все это слагается само собою. Талантливый юноша и неподражаемый остряк, Чацкий в течение трех лет своего отсутствия из Москвы недосыпаемо перерос всю ту среду, с которою расстался. Он с первого же свидания смутно чувствует, что единственная мечта его сердца – Софья, как будто уже отошла от него. Он боится верить такому несчастью и остается надеющимся и взволнованным до конца. Между тем романтическая Софья, созревшая для любви как раз в отсутствие Чацкого и фатально обратившая свои мечтания на красивого и лицемерно добродетельного Молчалина, проживавшего с нею в одном доме, – Софья уже успела беззаветно отдать в плен свое сердце этому хитрому лакею. Она так наэкзальтировалась запретными свиданиями с Молчалиным, эти свидания так пленили ее своею невинностью, скромною грустью, вздохами и ру-

копожатиями, что Чацкий с своим трезвым умом и живую страстью показался ей грубою и враждебною помехою к ее наслаждению тайною меланхолиею ее чувства. В то же время, как оказывается, и отец Софьи, Фамусов, прочил ей в мужья совсем иного сорта людей, нежели Чацкий. Сердце Чацкого сжимается болью. Против него отец – это бы еще не беда, но против него, кажется, и сама дочь... Он в этом боится убедиться и страдает.

А Софья сильно влюблена в Молчалина и энергично защищается от Чацкого. Ее холодность на него не действует; Чацкий подвергает ее допросам; она решительно не знает, как от него отвязаться и вдруг, – благо у Чацкого много врагов из-за его колкого языка, – Софья наудачу бросает в бальную толпу подозрение, что Чацкий не в своем уме. Такая сплетня всем на руку: и хозяину, и гостям, озлобленным на Чацкого. И сплетня разгорелась с необычайною быстротою.

Зарождение и чрезвычайно успешное торжество этой сплетни обрисованы Грибоедовым гениально. Первые сеятели клеветы даже не названы Грибоедовым по фамилии: это – гг. N. и D. Какой дивный штрих! Отныне буквы N и D могут считаться микробами сплетни, – теми неприметными частицами, носящимися в воздухе, которые в несколько мгновений могут создать самую губительную эпидемию злословия.

И под конец все открывается Чацкому: и неизлечимая влюбленность Софьи в Молчалина, и низость Молчалина, и басня о его собственном сумасшествии...

Это – сама жизнь с ее сложными и бессмысленными страданиями, это правдивая поэма реальных чувств и характеров, а не то, что у нас принято видеть в комедии Грибоедова, т. е. только лишь искусно выбранную канву для могучей сатиры на общество...



### III

Прав был г. Боборыкин, когда он на юбилейном вечере говорил, что все действующие лица «Горя от ума» уже успели сделаться для нас «достолюбезными». И в самом деле: как не полюбить то, что не вымышлено исключительно для назидания, но живьем выхвачено из нашей родной действительности! Как не любоваться неподражаемо верным изображением живых людей с их плотью и кровью! Здесь уже слабеет и самая укоризна против нарисованных лиц: остается только одно наслаждение искусством художника.

Барский дом Фамусова и все действующие лица комедии навсегда сделались животрепещущими образами в нашей памяти. Мы видим воочию этот хлебосольный и зажиточный дом с двумя жильями и многими антресолями, просторный, теплый и удобный, с отдушничками и софами, с Петрушкой, Лизой, Филькой, Фомкой и многочисленную челядь, которая с утра поднимает стук и ходьбу в комнатах, когда «метут и убирают». Все мелочи этой драматической поэмы получили для нас интимную прелесть: часы с музыкой, поднимающие звон при самом открытии пьесы, календарь Фамусова, нессесер, предлагаемый Молчалиным в подарок Лизе: «снаружи зеркальце и зеркальце внутри», слуховая трубка князя Тугоуховского и т. п. О лицах и говорить нечего: каждое из них нам знакомо, как самый близкий че-

ловек. И все это одухотворено навеки чудесным даром художника.

Центром комедии является, конечно, Чацкий. Он есть то самое солнце, вокруг которого вращаются все прочие темные тела. Попадая в его лучи, эти тела мгновенно озаряются до самого своего нутра, обнаруживают всю свою природу – и затем, оборачиваясь к нему тылом, делаются еще более темными. Чацкого, т. е. Грибоедова недаром сравнивали с Наполеоном и Гамлетом: он смотрел необычайно далеко вперед, через головы современников; он носил в себе мучительный вопрос: «быть или не быть русскому самосознанию?» Если вы вдумаетесь в те вопросы, которые поднял вокруг себя Чацкий, то вы увидите, что все последующие публицисты и сатирики только пережевывали его жвачку. Раньше Пушкина и Тургенева, Чацкий заклеил крепостное право двустешием: «На крепостной балет согнал на многих фурах – от матерей, отцов отторженных детей...» Он первый заставил наших реакционеров живо и страстно высказаться против науки: «Ученье – вот чума, ученость – вот причина», или: «Там упражняются в расколах и безверьи профессора! У них учился наш родня... Он – химик, он – ботаник!»! Ведь эти восклицания, в сущности, предусматривают шестидесять лет и возмущение против базаровских лягушек!.. Чацкий благородно взывал к чувству собственного достоинства и к «свободной жизни» русских людей, к которой вражда «предыдущего века», «за древностию лет», была неприми-

рима. Об этом веке он, не обинуясь, сказал: «Прямой был век покорности и страха, все под личиною усердия к царю»! Своим отношением к Фамусову и Молчалину он уже наметил основные мотивы щедринской сатиры на бюрократию. А безвредное фрондерство «наших старичков» – этих настоящих «канцлеров в отставке по уму»? А гениальные карикатуры наших клубных заговорщиков?.. Кто вызвал все эти как бы случайные и драгоценные разоблачения, как не Чацкий, т. е. опять-таки Грибоедов?

Вот почему фигуру Чацкого следует изображать на сцене с тою бережностью, с которой принято выставлять перед публикой великие исторические личности. Пора отождествить его с Грибоедовым, т. е. с лицом вполне реальным, с благовоспитанным и, по возможности, сдержанно изящным, – сильным по натуре и обаятельным по внешности, – молодым человеком, который держится естественно уже потому, что он гениален, – потому что в нем кроется государственный ум с необычайно широким кругозором. Это не крикун и не ходатай, а спокойная сила, сознающая свое превосходство. Кроме того, это не призрак, не пошлая публицистическая аллегория, а живой человек с общечеловеческими страстями и привязанностями, с определенно очерченным в пьесе событием из его жизни, имевшим громадное значение для его сердца – это, если хотите, влюбленное историческое лицо, которое нестерпимо, до глубины своей души, пострадало в этом эпизоде, но, конечно, не перестало быть истори-

ческим.

Ради художественной истины, мне казалось необходимым восстановить аристократизм Чацкого-Грибоедова. Аристократизм таких людей, как Грибоедов, Пушкин и Лермонтов, был синонимом истинно высокого развития в лучшем смысле слова: недаром все эти аристократы (как и Байрон) враждовали в своей поэзии с тою самою средою, к которой они принадлежали по рождению и воспитанию. Но они невольно заимствовали из этой среды то изящество и гордость тона, которые им одним принадлежали по внутреннему праву. В этих истинных аристократах было нечто такое, что не только выше обыкновенных людей, но как будто и «выше мира». Они видели действительность насквозь, они горячо любили в ней все благородное, но вместе с тем, они как-то удивительно легко выходили из жизни. Грибоедов – этот обаятельный остряк – в душе тосковал и мрачно смотрел в будущее, предвидя для себя или сумасшествие, или самоубийство. Эта скрытая печаль вырвалась и у Чацкого: «Куда ни взглянешь, все та же гладь и степь, и пусто, и мертво...» Все трое – Грибоедов, Пушкин и Лермонтов – убиты в ранние годы. Все трое писали: Пушкин – «И томит меня тоскою однозвучный жизни шум», – Лермонтов: «Давно пора мне мир увидеть новый!» – и Грибоедов, уходя со сцены вместе с Чацким: «Карету мне! карету!»

Почему это? Были ли эти великие люди неудовлетворены нашею жизнью, или жизнью вообще, – кто скажет?..

*1895 z.*